

Кёдзин начало часть 1



Зеркальный Вихрь

18+

Зеркальный Вихрь

Кёдзин начало часть 1

«Автор»

2025

Вихрь 3.

Кёдзин начало часть 1 / 3. Вихрь — «Автор», 2025

Что, если „любовь“ в этом мире — лишь щит от страха?» В мире, где храмы рушатся чаще, чем души, люди прячут боль за словами «я люблю тебя». Мать душист ребёнка заботой, отец отправляет сына в монастырь, чтобы не видеть в его глазах своё предательство. Жрецы приносят жертвы богам, которые молчат. Даже белый лотос — символ чистоты — чахнет в пепле руин. «Кёдзин» — не о спасении мира. Это история о том, как спасти себя, когда каждый шаг разрушает иллюзии. Здесь нет героев: солдаты убивают во имя мира, священники торгуют верой, а любовь требует крови. Книга для тех, кто видит тьму за масками добра. Для читателей Ротфусса и Аберкромби, готовых расплатиться душевным спокойствием за правду. Настоящая любовь не требует жертв. Она требует, чтобы ты перестал врать себе.

© Вихрь 3., 2025

© Автор, 2025

Зеркальный Вихрь

Кёдзин начало часть 1

Глава 1: «Я люблю тебя»

1. Мать у колыбели

Я наклонилась над кроваткой и прошептала: «Я люблю тебя».

Слова вышли мягко, как дым от гаснущей лампы, – тёплые снаружи, пустые внутри. Ребёнок не открыл глаз, но улыбнулся – той улыбкой, что рождается не от мысли, а от покоя, от полного доверия миру, который ещё не научил его бояться. Его грудь вздымалась ровно, без тревоги, будто он знал: пока я здесь, ничего плохого не случится. А я стояла, сжимая край одеяльца, и чувствовала, как в груди нарастает та самая тяжесть – не любовь, нет, не то светлое, что описывают в песнях. Это был страх. Страх, облачённый в шёлк заботы. Страх, что однажды он посмотрит на меня и не узнает. Что выберет чужой голос, чужую правду, чужую любовь. Что скажет: «Ты не понимаешь меня», – и будет прав. Я боюсь, что он вырастет добрым – и его сломают. Боюсь, что станет сильным – и забудет, откуда пошёл. Боюсь, что полюбит – и это не будет я.

Я гладила его волосы, такие тонкие, что почти невидимые в полумраке, и думала: как же так получилось, что моё «я люблю тебя» превратилось в «не оставляй меня»? Когда я впервые начала путать привязанность с любовью? Было ли это, когда моя мать сказала мне: «Ты – моё всё», а потом отдала в дом к тёте, потому что «так лучше для тебя»? Или когда я сама впервые подавила свой крик, чтобы не нарушить «гармонию»? Теперь я передаю ему ту же ложь – в утешительных тонах, в поцелуях перед сном, в колыбельных, где каждая нота – просьба: «Останься моим. Не становись собой, если это значит – потерять меня».

Он вздохнул во сне, и этот вздох прошёл сквозь меня, как ветер сквозь руины. Я хотела сказать ему правду: «Я не знаю, как любить без страха. Я не умею отпускать. Я боюсь, что если ты уйдёшь – я перестану существовать». Но вместо этого я прошептала снова: «Я люблю тебя», – и на этот раз голос дрогнул. Потому что впервые я услышала, как звучит эта фраза без маски. Голая. Больная. Честная.

За окном начало светлеть. Ночь уходила, а вместе с ней – иллюзия, что любовь может быть чистой, если в ней живёт страх. Я выпрямилась, отошла от кроватки и постояла у двери, глядя на него в полутьме. Он всё ещё улыбался. А я впервые за долгое время заплакала – не ради него, не из жалости, не из усталости. Просто потому что поняла: я не люблю его – я цепляюсь за него, как утопающий за доску. И в этом признании – не стыд, а начало чего-то нового. Может быть, даже свободы.

Завтра я снова скажу: «Я люблю тебя».

Но, может быть, завтра – чуть честнее.

2. Отец перед дорогой

Я положил руку на плечо сына и сказал: «Я люблю тебя».

Слова повисли в воздухе, как пыль в солнечном луче – видимые, но бестелесные. Он кивнул, не поднимая глаз. Его пальцы теребили край пояса, будто искали что-то, что можно

унести с собой. Я знал: он чувствует ложь. Не в словах – в жесте. В том, как моя ладонь дрожит, как я слишком крепко сжал его плечо, будто пытаюсь впечатать себя в его память.

Я отправляю его в монастырь. Так решил совет старейшин. Так велит порядок. «Там он найдёт путь», – говорят мне. «Там он станет чище». Но правда в другом: я не могу смотреть, как он растёт в этом городе, где каждый камень пропитан пеплом сожжённых храмов и криками тех, кто умирал, называя это «любовью к родине». Я не хочу, чтобы он видел, как я пью по ночам, чтобы заглушить голос, который шепчет: «Ты предал всех, кого любил».

Он слишком похож на меня. В нём – мои глаза, мой упрямый подбородок, моя склонность молчать, когда нужно кричать. И если он останется здесь, он унаследует не только моё имя, но и мою трусость. А я не вынесу, если однажды он спросит: «Почему ты молчал?» – и я не смогу ответить.

Поэтому я посылаю его туда, где тишина – не пустота, а учитель. Где он сможет стать кем-то, кем я не стал. И пусть он думает, что это мудрость. Пусть верит, что отец пожертвовал им ради высшего блага. Это легче, чем признаться: «Я посылаю тебя прочь, потому что не хочу, чтобы ты видел, как я плачу. Потому что не хочу, чтобы ты узнал – я не герой. Я просто человек, который боится, что его сын увидит в нём слабость».

Он поднял глаза – всего на миг. В них не было гнева. Только та тихая боль, что рождается, когда ребёнок впервые понимает: взрослые лгут даже тогда, когда говорят «люблю».

Я отвёл взгляд первым.

Моя любовь – это стыд. Стыд за то, что я не смог защитить мир, в который он родился. Стыд за то, что вместо того чтобы изменить его, я прячу сына от него. Стыд за то, что называю своё бегство мудростью.

Но сегодня, стоя у ворот, я позволил себе одно: когда он отошёл на десять шагов, я прошептал вслед не «Будь сильным», не «Служи верно», а просто:

– Прости меня.

Он не обернулся. Но, может быть, услышал.

А может быть, этого и не нужно. Прощение – не для него. Оно для меня. Чтобы хоть раз сказать правду – даже если никто не услышит.

3. Сестра перед разлукой

Я обняла брата и прошептала: «Я люблю тебя».

Его кольчуга была холодной даже сквозь ткань моего платья. Я вдыхала запах железа, пота и горькой травы – той, что жуют перед боем, чтобы не дрожали руки. Он не ответил. Просто прижал меня чуть дольше, чем обычно, будто пытался запомнить тепло, которое скоро станет воспоминанием.

Он уезжает на войну. Не по зову сердца, не по долгу – по приказу. А приказы в этом мире давно перестали отличать правду от лжи. Они просто требуют тел. Его тело – ещё одно в списке.

Я хотела сказать: «Не умирай». Хотела уцепиться за его рукав, упасть на колени, закричать, чтобы он остался. Но язык будто прирос к нёбу. Потому что я знаю: если он выживет – вернётся не тем. Война не убивает только тело. Она убивает то, что делает человека человеком: способность удивляться, плакать без стыда, верить, что добро возможно. Я видела возвращавшихся. Их глаза – пустые колодцы. Они смеются громко, пьют до потери памяти, а по ночам воют, как раненные звери. Они целуют жён, но не чувствуют прикосновения. Они смотрят на детей – и видят врагов.

Лучше пусть умрёт чистым, чем вернётся сломленным.

Эта мысль – как нож в груди. Я ненавижу себя за неё. Но она не уходит.

Поэтому я молчу. Не прошу. Не умоляю. Просто обнимаю – крепко, до боли, будто могу влить в него всё, что не успела сказать за годы: «Помни запах сирени у нашего дома. Помни, как мы прятались от дождя под крышей сарая. Помни, что ты был мальчиком, который боялся грозы и плакал, когда умерла наша собака».

Моя любовь – это прощание. Не надежда на возвращение, а прощание с тем, кем он есть сейчас. С тем, кого я ещё могу назвать братом, не стыдись.

Но я называю это надеждой. Говорю матери: «Он вернётся». Улыбаюсь соседке: «Он сильный». Повторяю себе перед сном: «Он выживет».

Потому что признать, что я прощаюсь навсегда, – значит признать, что война уже победила. А я не готова сдаться. Даже если победа – лишь иллюзия.

Он отстранился, поправил перевязь на плече и кивнул – коротко, как учили. Потом сел на коня и уехал, не оглядываясь.

Я стояла, пока пыль не скрыла его фигуру.

И только тогда прошептала то, что не сказала вслух:
– Не возвращайся, если потеряешь себя.

Потому что я люблю не воина. Я люблю мальчика, который боялся грозы.

А его, возможно, уже не спасти.

4. Учитель перед наказанием

Я посмотрел на ученика и сказал: «Я люблю тебя».

Слова вышли ровно, спокойно – как всегда. Так учили нас в храме: даже в гневе голос должен быть тихим, чтобы боль входила не через страх, а через понимание. Он стоял передо мной, опустив голову, пальцы сжаты в кулаки, спина прямая – гордая, несмотря на дрожь. Он солгал. Сказал, что переписал священный текст, а на самом деле подменил страницу, чтобы скрыть свою ошибку. Мелочь, казалось бы. Но в мелочах – корень падения.

Я взял пруть. Тонкий, гибкий, высушенный три луны под крышей монастыря – чтобы не рвал кожу, но запоминалось надолго. Поднял руку. Ударил.

Он не вскрикнул. Только вдохнул резко, как будто нырнул в ледяную воду. На шее у него пульсировало – живое, уязвимое. Я ударил ещё раз. И ещё. Семь раз – по числу грехов, что рождаются из лжи.

«Боль учит», – сказал я, возвращая пруть на полку.

Он кивнул. Прошептал: «Благодарю, учитель».

Но правда была в другом.

Когда пруть касался его спины, я чувствовал не гнев, не скорбь, не заботу. Я чувствовал власть. Ту самую тёплую, сладкую тяжесть в груди, когда ты знаешь: этот человек – в твоих руках. Его боль – твой инструмент. Его страх – твоя опора. Его покорность – доказательство твоей правоты.

И да – мне было приятно.

Не потому что я жесток. А потому что я слаб. Потому что в этом мире, где всё рушится, где даже боги молчат, власть над одним маленьким телом даёт иллюзию порядка. Иллюзию, что я ещё что-то контролирую.

Я называю это воспитанием. Говорю себе: «Я формирую характер. Я закаляю дух». Цитирую древние тексты: «Без боли нет истины». Но в глубине – знаю: если бы он не солгал, я всё равно нашёл бы повод. Потому что мне нужно, чтобы он боялся. Не зла, не последствий – меня.

Он вышел, не поднимая глаз. Его шаги эхом отдались в коридоре – тихие, сдержанные. Хороший ученик. Послушный.

Я остался один.

Подожёл к окну. За стеклом – сад. Белый лотос в пруду. Его лепестки начали чернеть по краям. Никто не знает почему.

Я провёл ладонью по лицу. В горле – сухо.

Моя любовь – это контроль. Жёсткий, холодный, замаскированный под заботу. Я строю из неё храм, но внутри – пустота.

И самое страшное – я не знаю, как любить иначе.

Потому что меня тоже учили так.

Ударом. Тишиной. Словом «ради твоего же блага».

И теперь я передаю это дальше – как священную традицию.

А лотос всё чернеет.

5. Жрец перед жертвой

Я возложил руки на голову ребёнка и прошептал: «Боги любят тебя».

Его волосы были мягкие, как пух молодого журавля, – тёплые от солнца, что ещё не знает, что завтра станет днём пепла. Он сидел тихо, не шевелясь, будто чувствовал: в этом прикосновении – не благословение, а прощание. Его глаза – большие, тёмные, без вопросов. Дети не спрашивают, пока не поздно. А когда поздно – уже не верят ответам.

Завтра его принесут в дар.

Не в жертву гневу, нет. Не ради урожая, не ради победы. А «ради очищения». Так сказал Оракул. Так решили старейшины. Так требует Великий Баланс: одна чистая душа – чтобы утолить тьму, что вырвалась из Сердца Мира. Кёдзин жаждет невинности. И мы даём ему её – в белых одеждах, с венком из белого лотоса, с запястьями, перевязанными шёлковой нитью.

«Это великая честь», – говорю я родителям, когда они приводят его в храм.

Отец кивает, сжав челюсти. Он хочет верить. Ему легче думать, что сын станет светом, чем признать: его отдадут, потому что мы больше не знаем, как бороться с тьмой, кроме как кормя её болью.

Но мать...

Мать смотрит на меня. Не на алтарь. Не на небо. На меня.

И в её глазах – не гордость. Не смирение. Не даже боль.

Там – пепел.

Пепел всего, во что она когда-то верила: в богов, в храм, в меня. Пепел надежды, что мир можно спасти, не разрушая тех, кто в нём самый чистый. Пепел любви, которую она пыталась передать сыну – и которая завтра будет принесена в жертву под именем «блага».

Я отвожу взгляд.

Потому что не выдерживаю.

Потому что знаю: она видит меня насквозь. Видит, как я каждую ночь стою у алтаря и шепчу не молитвы, а оправдания. Видит, как я цепляюсь за ритуалы, потому что без них останусь один на один с собственной совестью.

Моя любовь – это ложь.

Я не люблю этого ребёнка. Я не люблю его родителей. Я не люблю даже богов, чьи имена произношу.

Я люблю иллюзию порядка.

Люблю чувство, что я – не часть хаоса, а его сдерживатель. Что, принося в жертву одного, я спасаю тысячу. Что, если я сделаю это с достоинством, с тихим голосом и опущенными глазами, – меня не назовут убийцей.

Назовут служителем.

Назовут мудрецом.

Назовут святым.

А ночью, когда все уйдут, я приду к алтарю и положу ладонь на камень, всё ещё тёплый от его маленького тела, и спрошу:

– Простишь ли ты меня?

Но ответа не будет.

Потому что боги молчат.

А ребёнок – уже не здесь.

И только тогда я пойму: вера, построенная на лжи, – не вера. Это страх, одетый в рясу.

Но завтра я снова скажу: «Боги любят тебя».

Потому что у меня нет другого языка.

И нет другого пути.

Только пепел – в глазах матери... и в моей душе.

6. Служанка в тени

Я стояла в тени колонны, с подносом в руках, и смотрела, как госпожа целует дочь в лоб и говорит: «Я люблю тебя».

Голос у неё был тёплый, почти материнский – тот самый, что звучит в колыбельных и перед сном. Девушка прижалась к ней, будто ища укрытия. Ей семнадцать. Глаза ещё не потухли, но уже научились прятать боль. Она знает, что сегодня решена её судьба.

Через час госпожа вызвала жениха – старого министра с перстнями на каждом пальце и дыханием, отдающим лекарствами. «Он даст тебе покой, защиту, имя», – сказала мать, глядя дочь по волосам. «Это ради твоего будущего».

Девушка не заплакала. Просто кивнула. Как учили: «Хорошая дочь не спорит. Хорошая дочь доверяет».

Я молчу.

Молчу, как молчала, когда меня в тринадцать лет отдали в услужение. Молчу, как молчала, когда мой брат ушёл на рудники и не вернулся. Молчу, потому что моё слово ничего не стоит. Но в груди – не пустота. Там вопрос. Острый, как бритва под ногтем.

«Если любовь требует жертвы – чья это любовь?»

Любит ли мать дочь – или любит своё спокойствие?

Любит ли она её счастье – или боится, что дочь выберет путь, где мать не будет нужна?

Любит ли она её – или любит идею дочери: послушной, управляемой, украшающей род?

Я видела, как эта девушка ночами читала запрещённые свитки, как рисовала птиц с расправленными крыльями, как смеялась с садовником – тихо, за углом, где никто не видит. Она мечтала не о замке и золоте, а о том, чтобы выбирать.

А теперь её выбор – старик с холодными руками и горячкой в крови.

Госпожа ушла, оставив дочь одну. Та подошла к окну, сняла с шеи тонкую нить с бусиной – подарок того самого садовника – и бросила в пруд. Бусина утонула без всплеска.

Я всё ещё стою в тени.

Мои руки держат поднос с остывшим чаем.

Мои губы – запечатаны.

Но сердце кричит.

Потому что я знаю: любовь, которая требует, чтобы ты перестал быть собой, – не любовь.

Это сделка.

Это страх.

Это тюрьма с золотыми прутьями.

И самое страшное – мы все в ней живём.

Даже те, кто думает, что дарит свободу.

Я отхожу, не издав ни звука.

Но вопрос остаётся – висит в воздухе, как запах увядшего лотоса:

«Если любовь требует жертвы – чья это любовь?»

И никто не отвечает.

Потому что ответ слишком страшен.

7. Ребёнок, слушающий

Меня обняли и сказали: «Я люблю тебя».

Руки были тёплые. Голос – мягкий, как пух с одуванчика. Запах – травы и дыма, как у всех взрослых в нашем доме. Я стоял неподвижно, не отвечая. Не потому что не хотел. А потому что не верю словам, после которых исчезают люди.

Вчера те же самые слова сказали Лиане.

Она стояла у порога, в новом платье, с венком из белых цветов. Её мать плакала, но улыбалась сквозь слёзы. Отец гладил её по голове и шептал: «Мы любим тебя. Это великая

честь». А потом пришли люди в серых одеждах, и Лиана уехала в храм на повозке, обитой чёрным шёлком. Она не плакала. Только смотрела назад – долго, пока дорога не скрыла её из виду.

Сегодня утром я спросил у матери: «Когда она вернётся?»

Она не ответила. Просто поцеловала меня в лоб и сказала: «Ты хороший мальчик. Не задавай лишних вопросов».

Теперь я знаю.

Любовь – это не то, что дарят. Это то, после чего тебя забирают.

Говорят «люблю» – и отдают в монастырь.

Говорят «люблю» – и выдают замуж за старика.

Говорят «люблю» – и отправляют на войну.

Говорят «люблю» – и ведут к алтарю, где пахнет пеплом и медом.

Взрослые думают, что я не понимаю. Что я слишком мал, чтобы видеть ложь под их лаской. Но я вижу. Я слышу, как мать плачет ночью, когда думает, что я сплю. Вижу, как отец сжигает письма, которые приходят из храма. Вижу, как соседи перешёптываются, когда кто-то говорит: «Их ребёнок был избран».

Избран.

Как будто это подарок, а не прощание.

Меня снова обнимают. Говорят: «Ты наш свет».

Я не двигаюсь. Не улыбаюсь. Не говорю «я тоже тебя люблю», как учили.

Потому что если я скажу это – они решат, что я готов.

А я не хочу быть «избранным».

Я хочу остаться.

Хочу, чтобы любовь значила: «Ты можешь быть здесь. Ты можешь быть собой. Ты не должен платить за это исчезновением».

Но такого слова, кажется, больше нет.

Теперь оно звучит только перед разлукой.

Поэтому я молчу.

Пусть думают, что я глупый. Пусть думают, что не чувствую.

Лучше пусть так.

Потому что если я покажу, что понимаю, – они решат, что я достоин.

А я не хочу быть достойным исчезновения.

Я отстраняюсь. Иду к двери.

За спиной слышу вздох. Может, разочарование. Может, обида.

Но мне всё равно.

Пусть любят тех, кто ещё верит.

Я больше не верю в неё.

Любовь – это то, что говорят, когда уже решили отдать тебя тьме.

А я хочу остаться в свете.

Даже если он – только в моих глазах.

8. Старик у окна

Я сижу у окна, прижавшись спиной к прохладной стене, и смотрю, как мать наклоняется к ребёнку и говорит: «Я люблю тебя».

Слова такие же, как шестьдесят лет назад. Те же интонации – нежные снаружи, твёрдые внутри. Тот же жест: ладонь на щеке, будто проверяя, на месте ли ещё то, что принадлежит тебе. Ребёнок улыбается. Не знает, что это – не начало, а предупреждение.

Когда-то и мне так говорили.

Мать целовала меня в лоб перед рассветом, когда пришли забирать в армию. «Ты вернёшься героем», – сказала она. «Я люблю тебя». А в глазах – не гордость, а облегчение: «Наконец-то он уйдёт. Наконец-то перестанет задавать вопросы».

Я вернулся. Не героем. Сломленным. С руками, помнящими вес меча, и душой, забывшей, как петь.

Потом пришли снова – на этот раз в чёрных одеждах. «Ты слишком много видел», – сказали. «Ты опасен». Мать не вышла проводить. Только через щель в двери прошептала: «Прости меня. Я люблю тебя».

Любовь – это то, что говорят, когда уже решили тебя предать.

В тюрьме я считал дни по трещинам на стене. Иногда снилось, что она приходит, приносит еду, гладит по волосам. Но просыпался – и понимал: даже во сне она не остаётся надолго.

Когда выпустили – старым, больным, никому не нужным – я вернулся домой. Дома уже не было. Только руины и чужие лица. Один из них сказал: «Твоя мать умерла. Перед смертью просила передать: “Я любила тебя”».

Прошедшее время.

Не «люблю». А «любила».

Как будто любовь – вещь, которую можно положить в гроб и закрыть крышку.

Теперь я смотрю на эту мать у окна напротив. Она улыбается. Гладит ребёнка. Говорит слова, которые я знаю наизусть. И я вижу: через год он пойдёт в школу, где его научат молчать. Через пять – его отдадут в ученики к мастеру, который сломает его гордость. Через десять – его пошлют на границу, чтобы он «защитил родину». А перед каждым прощанием – те же слова: «Я люблю тебя».

Любовь – это начало всех прощаний.

Но никто не называет её так.

Потому что тогда пришлось бы признать: мы не дарим любовь – мы готовим к утрате.

Мы говорим «люблю», чтобы потом не чувствовать вины, когда отпускаем.

Мы говорим «люблю», чтобы боль ухода казалась заслуженной.

Мы говорим «люблю», потому что не знаем, как сказать: «Мне страшно. Останься. Но я всё равно отпущу тебя – потому что так учили».

Ребёнок уходит в дом. Мать остаётся у двери, смотрит вдаль. Может, думает о будущем. Может, уже планирует следующее «ради его же блага».

Я отворачиваюсь.

За окном – вечер. Воздух пахнет дождём и увядшими цветами.

Где-то вдалеке плачет ребёнок.

А я впервые за всю жизнь думаю:

может, настоящая любовь – это молчание?

Молчание, в котором нет обещаний.

Молчание, в котором человеку позволяют остаться – просто так, без условия, без будущего, без жертвы.

Но такого молчания я не слышал никогда.

Только слова.

И прощания после них.

9. Женщина у зеркала

Я смотрю на своё отражение и шепчу: «Я люблю тебя».

Губы шевелятся – точно, как учили: мягко, без дрожи, с достоинством. Но глаза... глаза – пусты. Не от усталости. Не от боли. От привычки. Как у статуи, что веками стоит в храме: все думают, она молится, а на самом деле – просто выдерживает время.

Я училась любить, как учили.

«Люби, но не теряй себя», – говорила мать, когда я впервые влюбилась в мальчика с реки. «Любовь – не слабость», – наставляла наставница, когда я плакала после первой потери.

«Ты должна быть сильной, чтобы любить правильно», – шептала подруга, когда я собиралась выйти замуж.

И я стала сильной.

Я не цеплялась. Не умоляла. Не теряла сна из-за чужих слов. Я улыбалась, когда меня предавали. Отпускала, не требуя объяснений. Дарила – не ожидая в ответ. Называла это мудростью. Называла это свободой.

Но сегодня, глядя в зеркало, я вдруг поняла: если я не теряю себя – кого я люблю?

Все эти годы я берегла себя, как хрустальный сосуд – ни трещины, ни царапины. Я не позволяла чувствам разлиться, не давала боли проникнуть внутрь, не допускала, чтобы чужая радость или горе потревожили мой покой. Я любила «с умом». «С достоинством». «Без глупостей».

Но любовь без риска – не любовь.

Любовь без уязвимости – не любовь.

Любовь, в которой ты остаёшься целым, – это просто отсутствие любви.

Я думала, что защищаю себя.

А на самом деле – никогда не позволяла себе быть любимой.

Потому что чтобы тебя полюбили – нужно показать, что ты можешь быть разбит. А я так и не научилась.

Теперь я одна.

Не потому что меня бросили.

Не потому что я недостойна.

А потому что рядом не осталось никого, кто мог бы дотронуться до настоящей меня – той, что прячется за этой маской «сильной женщины».

Моя любовь – это одиночество.

Тихое, благородное, ухоженное одиночество. Оно не кричит. Оно не требует. Оно просто есть – как тень за спиной, как пыль на полках, как чашка чая, остывшая до комнатной температуры.

Но я называю его силой.

Потому что признать, что это – боль, значит признать, что я ошибалась.

А признать, что я ошибалась, – значит признать, что я могла бы быть счастлива.

А это слишком больно.

Я провожу ладонью по зеркалу. Холодное стекло не отвечает.

Где-то за стеной смеются дети. Где-то мужчина зовёт жену по имени. Где-то двое держатся за руки, не боясь, что один из них – слишком хрупкий.

А я всё ещё шепчу: «Я люблю тебя».

Но теперь я знаю: это не любовь.

Это молитва к себе.

Молитва, в которой нет веры.

10. Голос в толпе

Сегодня сотни раз прозвучало: «Я люблю тебя».

На площади – мать целует сына перед отправкой в монастырь. В храме – жрец возлагает руки на ребёнка, которого завтра принесут в жертву. У ворот города – сестра обнимает брата, уходящего на войну. В тени колонн – госпожа гладит дочь, обручённую со стариком. В пыльной комнате – учитель поднимает пруть над спиной ученика. У окна – старик смотрит, как всё повторяется. В зеркале – женщина шепчет слова, которые больше не значат ничего.

И в каждом «я люблю тебя» – не дар, а условие.

В одном – страх: «Не уходи, не оставляй меня с моей болью».

В другом – долг: «Ты обязан быть тем, кем я тебя вижу».

В третьем – ожидание: «Люби меня так, как я заслужил».

В четвёртом – боль: «Я отдаю тебя, чтобы не чувствовать себя виноватым».

В пятом – власть: «Ты будешь таким, как я скажу, потому что я знаю лучше».

В шестом – вина: «Прости, что я не могу защитить тебя иначе».

Ни в одном – просто: «Ты есть. И этого достаточно».

Мы забыли, как это – любить без цели. Без плана. Без будущего. Без «ради».

Раньше любовь была как дождь: падала на всех – на цветы и на камни, на праведных и на грешников. Не спрашивала, достоин ли ты. Просто мочила землю, чтобы что-то могло вырасти.

Теперь мы превратили её в ритуал обмена:

– Я люблю тебя, если ты будешь слушаться.

– Я люблю тебя, если ты не опозоришь род.

– Я люблю тебя, если ты не заставишь меня страдать.

– Я люблю тебя, если ты оправдаешь мои надежды.

А если нет?

Тогда любовь исчезает. Или хуже – остаётся, но становится клеткой, обитой шёлком.

Мы украшаем её словами: «забота», «мудрость», «жертва», «вера». Но внутри – страх. Страх быть покинутым. Страх быть ненужным. Страх, что без контроля любовь обратится против нас.

И вот результат:

Наша любовь – тень белого лотоса.

Снаружи – чистота, благородство, святость.

Внутри – чёрная сердцевина, где гниют невысказанные слова, непрожитые чувства, непрожитые жизни.

Лотос всё ещё цветёт.

Но его корни – в пепле.

И никто не замечает разницы.

Потому что мы научились принимать тени за свет.

А настоящую любовь – ту, что не требует ничего, кроме твоего присутствия, – мы давно сочли слабостью.

Или глупостью.

Или мифом.

Но сегодня, в тишине после сотни «я люблю тебя», я вдруг слышу – не голос, а отсутствие голоса.

И в этом молчании – вопрос:

«А если просто... быть?»

Без условий.

Без масок.

Без страха.

Но ответа нет.

Потому что мы забыли, как на него откликнуться.

«Любовь стала клеткой. А мы называем это заботой».

Глава 2: Цветок у святилища

1. Утренний паломник

Я пришёл на рассвете, когда мир ещё не решил, будет ли он сегодня живым или мёртвым. Туман, густой и молчаливый, цеплялся за ступени храма, как последняя надежда на то, что некоторые вещи можно скрыть – даже от самих себя. Воздух пах влагой, прелыми листьями и чем-то ещё – тонким, почти забытым: запахом ожидания. Не молитвы. Не веры. Просто ожидания, что, может быть, сегодня что-то изменится.

В руке я держал белый лотос.

Не сорванный у дороги, не купленный у старухи у ворот, не подаренный. Выращенный. В глиняном горшке на подоконнике моей комнаты, за занавеской, которую я опускал даже

днём. Каждое утро я поливал его одной чашкой воды – не больше, не меньше. Не из заботы, не из любви. Из упрямства. Потому что в этом мире, где всё, что живо, либо сломано, либо использовано, хотелось доказать себе: можно вырастить что-то чистое – и не испортить это.

Раньше сюда несли рис – золотистый, душистый, собранный с полей, где ещё пели птицы. Несли мёд – густой, тёплый, с каплями солнца в каждой капле. Несли ткани, сотканные матерями для дочерей, которые ещё не знали, что их отдадут в жёны чужим мужчинам. Несли песни – не для ушей богов, а для сердец людей, чтобы те помнили: они не одни.

Теперь приносят только то, что можно отдать, не теряя себя.

Потому что отдавать себя – стало опасно.

Потому что каждый, кто отдал сердце, либо исчез, либо стал тенью.

Цветок не накормит богов. Они, если и существуют, давно перестали голодать – они питаются нашим страхом, нашим молчанием, нашими «правильными» жестами. Цветок не согреет их ночью – их ночи, наверное, теплее наших дней. Но он – жест. Не мольба. Не обещание. Не сделка. Просто: «Я ещё здесь. Я ещё помню, как это – дарить что-то без условия».

Я положил его у подножия алтаря. Аккуратно, как кладут ребёнка в колыбель, хотя у меня никогда не было детей – я боялся, что передам им свой страх. Лепестки дрожали от росы. Или от моих пальцев. Я не оглянулся. Не стал ждать знака, не стал прислушиваться к ветру в надежде услышать шёпот. Потому что знаков больше нет. Есть только выбор: прийти или не прийти. Дарить или не дарить.

Пусть думают, что я верю.

Пусть думают, что я надеюсь.

Пусть думают, что я – один из тех, кто всё ещё ждёт милости.

Главное – чтобы не спрашивали, во что я верю на самом деле.

Потому что правда слишком проста и слишком страшна:

Я прихожу не ради богов.

Я прихожу, чтобы доказать себе, что я ещё способен на бесполезную доброту.

На жест, который ничего не меняет.

На любовь без цели.

А в этом мире – даже это стало актом сопротивления.

2. Женщина без имени

Я не молюсь. Не склоняю голову. Не шепчу имён богов, которых уже не помню по-настоящему. Просто кладу цветок на камень – каждый третий день, как велел обычай. Не раньше, не позже. Точно. Без эмоций. Как должно.

Не потому что верю в милость.

Я давно перестала верить, что кто-то слушает. Что кто-то видит. Что кто-то заботится. Милость – для тех, кто ещё надеется. А я научилась жить без надежды. Она слишком много требует: веры, терпения, уязвимости. А я больше не могу быть уязвимой.

Я делаю это, потому что если перестать – станет заметно.

Соседка у ворот перестанет здороваться. Торговец не даст скидку на рис. Дети перестанут кланяться при встрече. А однажды ночью – постучат в дверь. Вежливо. Тихо. Скажут: «Ты отступила от пути». И уведут. Не в тюрьму. Хуже. В «дом очищения», где учат снова верить – через боль, через голод, через сломанные пальцы и сломанные слова.

В этом городе неверие – опаснее воровства.

Вор крадёт вещь. А неверующий – подрывает порядок. А порядок – последнее, что держит нас от того, чтобы сожрать друг друга заживо.

Цветок – мой щит.

Не молитва. Не жертва. Не дар. Щит.

Он говорит миру: «Я всё ещё одна из вас. Я соблюдаю. Я помню. Я не вышла за черту».

А внутри – пустота.

Не та пустота, что бывает после слёз. Не та, что остаётся после утраты. Эта – глубже. Она не болит. Она просто есть. Как тишина в заброшенном доме. Как ветер над пепелищем. Я не чувствую ни гнева, ни страха, ни даже тоски. Только – отсутствие. Отсутствие веры. Отсутствие любви. Отсутствие себя.

Но пустоту не видно, если сверху положить лепесток.

Белый, хрупкий, ничего не значащий.

Он не спасает. Не исцеляет. Не возвращает прошлое.

Но он прикрывает.

И в этом городе – прикрытие дорожке правды.

Я кладу цветок. Отступаю на шаг. Кланяюсь – не богам, а людям, которые смотрят из окон. Потом ухожу.

Дома я сажусь у окна и смотрю на пустой горшок на подоконнике. Завтра начну выращивать новый лотос.

Не потому что верю.

А потому что выбора нет.

И в этом – вся моя вера.

3. Старый садовник

Вырастил его сам – из семени, найденного в пыли руин старого храма, что рухнул ещё до того, как Кёдзин обрёл имя. Семя было сухим, почти мёртвым, завернутое в обрывок священного свитка, на котором уже не читались слова – только следы слёз и пепла. Я поднял его не потому что надеялся. А потому что руки сами потянулись. Как будто в этом крошечном зёрнышке ещё теплилась память о том времени, когда люди дарили не из страха, а из избытка души.

Другие смеялись. Смеялись горько, как смеются те, кто давно забыл вкус радости.

– Зачем тратить воду на цветы, когда люди голодают? – спрашивал мясник, вытирая руки о фартук, пропахший кровью.

– Ты стар, – говорила соседка, – лучше бы починил крышу, чем возился с этой ерундой.

– Время цветов прошло, – бросил мальчишка, швыряя камешки в мой забор. – Теперь цветут только кости.

Но я знал: голод пройдёт.

Засуха кончится.

Война уймётся.

Даже ненависть – устанет.

А если исчезнет жест, которым мы говорили миру: «Я ещё чувствую. Я ещё помню. Я ещё человек», – тогда всё кончено.

Не от меча. Не от голода. Не от тьмы.

А от того, что перестанем отличать себя от тени.

Я ухаживал за ним в тишине. Поливал последней чистой водой из колодца. Накрывал тряпьем по ночам, когда ветер приносил пепел с юга. Говорил с ним – не словами, а молчанием, которое бывает между двумя живыми существами, понимающими друг друга без звуков. И когда первый бутон раскрылся – белый, чистый, будто не знал, что мир вокруг сгнил, – я заплакал. Впервые за двадцать лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.